



Евгений Замятин

—
Мы



Москва
2024

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6я44
3-26

В оформлении обложки использована иллюстрация:
© Chromobotia / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Замятин, Евгений Иванович.
3-26 Мы / Евгений Замятин. — Москва : Эксмо, 2024. —
384 с. — (Яркие страницы).

ISBN 978-5-04-110590-7

Евгений Замятин (1884—1937) — один из известнейших литераторов в 20-е годы прошлого века, новатор в прозе, с удивительно широким творческим диапазоном — гротескные сатирические произведения, сказки-притчи, рассказы из жизни русской провинции, фантастический роман. В советское время имя Замятина было забыто и вернулось в нее уже в новейшее время.

В книгу вошли роман «Мы» и рассказы и повести разных лет.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6я44

ISBN 978-5-04-110590-7

© Оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2024



Мои

Роман

Запись 1-я.

Конспект:

**ОБЪЯВЛЕНИЕ.
МУДРЕЙШАЯ ИЗ ЛИНИЙ. ПОЭМА**

Я просто списываю — слово в слово — то, что сегодня напечатано в Государственной Газете:

«Через 120 дней заканчивается постройка ИНТЕГРАЛА. Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взойдет в мировое пространство. Тысячу лет тому назад ваши героические предки покорили власти Единого Государства весь земной шар. Вам предстоит еще более славный подвиг: стеклянным, электрическим, огнедышащим ИНТЕГРАЛОМ проинтегрировать бесконечное уравнение Вселенной. Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, еще в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми. Но прежде оружия мы испытаем слово.

От имени Благодетеля объявляется всем номерам Единого Государства:

Всякий, кто чувствует себя в силах, обязан составлять трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства.

Это будет первый груз, который понесет ИНТЕГРАЛ.

Да здравствует Единое Государство, да здравствуют номера, да здравствует Благодетель!»

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Да: проинтегрировать грандиозное вселенское уравнение. Да: разогнать дикую кривую, выпрямить ее по касательной — асимптоте — по прямой. Потому что линия Единого Государства — это прямая. Великая, божественная, точная, мудрая прямая — мудрейшая из линий...

Я, Д-503, строитель «Интеграла», — я только один из математиков Единого Государства. Мое привычное к цифрам перо не в силах создать музыки ассонансов и рифм. Я лишь попытаюсь записать то, что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем (именно так: мы, и пусть это «МЫ» будет заглавием моих записей). Но ведь это будет производная от нашей жизни, от математически совершенной жизни Единого Государства, а если так, то разве это не будет само по себе, помимо моей воли, поэмой? Будет — верю и знаю.

Я пишу это и чувствую: у меня горят щеки. Вероятно, это похоже на то, что испытывает женщина, когда впервые услышит в себе пульс нового, еще крошечного, слепого человечка. Это я и одновременно не я. И долгие месяцы надо будет питать его своим соком, своей кровью, а потом — с болью оторвать его от себя и положить к ногам Единого Государства.

Но я готов, так же как каждый, или почти каждый, из нас. Я готов.

Запись 2-я.

Конспект:

БАЛЕТ. КВАДРАТНАЯ ГАРМОНИЯ. ИКС

Весна. Из-за Зеленой Стены, с диких невидимых равнин, ветер несет желтую медовую пыль каких-то цветов. От этой сладкой пыли сохнут губы — ежеминутно проводишь по ним языком — и, должно быть, сладкие губы у

всех встречных женщин (и мужчин тоже, конечно). Это несколько мешает логически мыслить.

Но зато небо! Синее, не испорченное ни единым облаком (до чего были дики вкусы у древних, если их поэтов могли вдохновлять эти нелепые, безалаберные, глупотолкущиеся кучи пара). Я люблю — уверен, не ошибусь, если скажу: мы любим только такое вот, стерильное, безукоризненное небо. В такие дни весь мир отлит из того же самого незыблемого, вечного стекла, как и Зеленая Стена, как и все наши постройки. В такие дни видишь самую синюю глубь вещей, какие-то неведомые до толе, изумительные их уравнения — видишь в чем-нибудь таком самом привычном, ежедневном.

Ну, вот хоть бы это. Нынче утром был я на эллинге, где строится «Интеграл», и вдруг увидел станки: с закрытыми глазами, самозабвенно, кружились шары регуляторов; мотыли, сверкая, сгибались вправо и влево; гордо покачивал плечами балансир; в такт неслышной музыке приседало долото долбежного станка. Я вдруг увидел всю красоту этого грандиозного машинного балета, залитого легким голубым солнцем.

И дальше сам с собою: почему красиво? Почему танец красив? Ответ: потому что это не свободное движение, потому что весь глубокий смысл танца именно в абсолютной, эстетической подчиненности, идеальной несвободе. И если верно, что наши предки отдавались танцу в самые вдохновенные моменты своей жизни (религиозные мистерии, военные парады), то это значит только одно: инстинкт несвободы издревле органически присущ человеку, и мы в теперешней нашей жизни — только сознательно...

Кончить придется после: щелкнул нумератор. Я подымаю глаза: О-90, конечно. И через полминуты она сама будет здесь: за мной на прогулку.

Милая О! — мне всегда это казалось — что она похожа на свое имя: сантиметров на 10 ниже Материнской

Нормы — и оттого вся кругло обточенная, и розовое О — рот — раскрыт навстречу каждому моему слову. И еще: круглая, пухлая складочка на запястье руки — такие бывают у детей.

Когда она вошла, еще вовсю во мне гудел логический маховик, и я по инерции заговорил о только что установленной мною формуле, куда входили и мы все, и машины, и танец.

— Чудесно. Не правда ли? — спросил я.

— Да, чудесно. Весна, — розово улыбнулась мне О-90.

Ну вот, не угодно ли: весна... Она — о весне. Женщины... Я замолчал.

Внизу. Проспект полон: в такую погоду послеобеденный личный час мы обычно тратим на дополнительную прогулку. Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства. Мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера — сотни, тысячи номеров, в голубоватых юнифах¹, с золотыми бляхами на груди — государственный номер каждого и каждой. И я — мы, четверо, — одна из бесчисленных волн в этом могучем потоке. Слева от меня О-90 (если бы это писал один из моих волосатых предков лет тысячу назад, он, вероятно, назвал бы ее этим смешным словом «моя»); справа — два каких-то незнакомых номера, женский и мужской.

Блаженно-синее небо, крошечные детские солнца в каждой из блях, неомраченные безумием мыслей лица... Лучи — понимаете: все из какой-то единой, лучистой, улыбающейся материи. А медные такты: «Тра-та-та-там. Тра-та-та-там», эти сверкающие на солнце медные ступени, и с каждой ступенью — вы поднимаетесь все выше, в головокружительную синеву...

И вот, так же, как это было утром, на эллинге, я опять увидел, будто только вот сейчас первый раз в жизни, уви-

¹ Вероятно, от древнего «Uniforme». — *Здесь и далее в романе «Мы» примеч. автора.*

дел все: непреложные прямые улицы, брызжущее лучами стекло мостовых, божественные параллелепипеды прозрачных жилищ, квадратную гармонию серо-голубых шеренг. И так: будто не целые поколения, а я — именно я — победил старого Бога и старую жизнь, именно я создал все это, и я как башня, я боюсь двинуть локтем, чтобы не посыпались осколки стен, куполов, машин...

А затем мгновение — прыжок через века, с + на —. Мне вспомнилась (очевидно, ассоциация по контрасту) — мне вдруг вспомнилась картина в музее: их, тогдашний, двадцатых веков, проспект, оглушительно пестрая, путаная толчея людей, колес, животных, афиш, деревьев, красок, птиц... И ведь, говорят, это на самом деле было — это могло быть. Мне показалось это так неправдоподобно, так нелепо, что я не выдержал и расхохотался вдруг.

И тотчас же эхо — смех — справа. Обернулся: в глаза мне — белые — необычайно белые и острые зубы, незнакомое женское лицо.

— Простите, — сказала она, — но вы так вдохновенно все озирали, как некий мифический бог в седьмой день творения. Мне кажется, вы уверены, что и меня сотворили вы, а не кто иной. Мне очень лестно...

Все это без улыбки, я бы даже сказал, с некоторой почтительностью (может быть, ей известно, что я — строитель «Интеграла»). Но не знаю — в глазах или бровях — какой-то странный раздражающий икс, и я никак не могу его поймать, дать ему цифровое выражение.

Я почему-то смутился и, слегка путаясь, стал логически мотивировать свой смех. Совершенно ясно, что этот контраст, эта непроходимая пропасть между сегодняшним и тогдашним...

— Но почему же непроходимая? (Какие белые зубы!) Через пропасть можно перекинуть мостик. Вы только представьте себе: барабан, батальоны, шеренги — ведь это тоже было — и следовательно...

— Ну да: ясно! — крикнула (это было поразительное пересечение мыслей: она — почти моими же словами — то, что я записывал перед прогулкой). — Понимаете: даже мысли. Это потому, что никто не «один», но «один из». Мы так одинаковы...

Она:

— Вы уверены?

Я увидел острым углом вздернутые к вискам брови — как острые рожки икса, опять почему-то сбился; взглянул направо, налево — и...

Направо от меня — она, топкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст, I-330 (вижу теперь ее номер); налево — О, совсем другая, вся из окружностей, с детской складочкой на руке; и с краю нашей четверки — неизвестный мне мужской номер — какой-то дважды изогнутый вроде буквы S. Мы все были разные...

Эта, справа, I-330, перехватила, по-видимому, мой растерянный взгляд — и со вздохом:

— Да... Увы!

В сущности, это «увы» было совершенно уместно. Но опять что-то такое на лице у ней или в голосе... Я с необычайной для меня резкостью сказал:

— Ничего не увы. Наука растет, и ясно — если не сейчас, так через пятьдесят, сто лет...

— Даже носы у всех...

— Да, носы, — я уже почти кричал. — Раз есть — все равно какое основание для зависти... Раз у меня нос «пуговицей», а у другого...

— Ну, нос-то у вас, пожалуй, даже и «классический», как в старину говорили. А вот руки... Нет, покажите-ка, покажите-ка руки!

Терпеть не могу, когда смотрят на мои руки: все в волосах, лохматые — какой-то нелепый атавизм. Я протянул руку и — по возможности посторонним голосом — сказал:

— Обезьяньи.

Она взглянула на руки, потом на лицо:

— Да это прелюбопытный аккорд, — она прикидывала меня глазами, как на весах, мелькнули опять рожки в углах бровей.

— Он записан на меня, — радостно-розово открыла рот О-90.

Уж лучше бы молчала — это было совершенно ни к чему. Вообще эта милая О... как бы сказать... у ней неправильно рассчитана скорость языка, секундная скорость языка должна быть всегда немного меньше секундной скорости мысли, а уже никак не наоборот.

В конце проспекта, на аккумуляторной башне, колокол гулко бил 17. Личный час кончился. I-330 уходила вместе с тем S-образным мужским номером. У него такое внушающее почтение и, теперь вижу, как будто даже знакомое лицо. Где-нибудь встречал его — сейчас не вспомню.

На прощание I — все так же иксово — усмехнулась мне.

— Загляните послезавтра в аудиториум 112.

Я пожал плечами:

— Если у меня будет наряд именно на тот аудиториум, какой вы назвали...

Она с какой-то непонятной уверенностью:

— Будет.

На меня эта женщина действовала так же неприятно, как случайно затесавшийся в уравнение неразложимый иррациональный член. И я был рад остаться хоть ненадолго вдвоем с милой О.

Об руку с ней мы прошли четыре линии проспектов. На углу ей было направо, мне — налево.

— Я бы так хотела сегодня прийти к вам, опустить шторы. Именно сегодня, сейчас... — робко подняла на меня О круглые, сине-хрустальные глаза.

Смешная. Ну что я мог ей сказать? Она была у меня только вчера и не хуже меня знает, что наш ближайший сексуальный день послезавтра. Это просто все то же са-

мое ее «опережение мысли» — как бывает (иногда вредное) опережение подачи искры в двигателе.

При расставании я два... нет, буду точен, три раза поцеловал чудесные, синие, не испорченные ни одним облучком глаза.

Запись 3-я.

Конспект:

ПИДЖАК. СТЕНА. СКРИЖАЛЬ

Просмотрел все написанное вчера — и вижу: я писал недостаточно ясно. То есть все это совершенно ясно для любого из нас. Но как знать: быть может, вы, неведомые, кому «Интеграл» принесет мои записки, может быть, вы великую книгу цивилизации дочитали лишь до той страницы, что и наши предки лет 900 назад. Быть может, вы не знаете даже таких азов, как Часовая Скрижаль, Личные Часы, Материнская Норма, Зеленая Стена, Благодетель. Мне смешно и в то же время очень трудно говорить обо всем этом. Это все равно как если бы писателю какого-нибудь, скажем, 20-го века в своем романе пришлось объяснять, что такое «пиджак», «квартира», «жена». А впрочем, если его роман переведен для дикарей, разве мыслимо обойтись без примечаний насчет «пиджака»?

Я уверен, дикарь глядел на «пиджак» и думал: «Ну к чему это? Только обуза». Мне кажется, точь-в-точь так же будете глядеть и вы, когда я скажу вам, что никто из нас со времен Двухсотлетней Войны не был за Зеленой Стеною.

Но, дорогие, надо же сколько-нибудь думать, это очень помогает. Ведь ясно: вся человеческая история, сколько мы ее знаем, это история перехода от кочевых форм ко все более оседлым. Разве не следует отсюда, что наиболее оседлая форма жизни (наша) есть вместе с тем и наиболее совершенная (наша). Если люди метались по земле из конца в конец, так это только во времена дои-

сторические, когда были нации, войны, торговли, открытия разных америк. Но зачем, кому это теперь нужно?

Я допускаю: привычка к этой оседлости получилась не без труда и не сразу. Когда во время Двухсотлетней Войны все дороги разрушились и заросли травой — первое время, должно быть, казалось очень неудобно жить в городах, отрезанных один от другого зелеными дебрями. Но что же из этого? После того как у человека отвалился хвост, он, вероятно, тоже не сразу научился сгонять мух без помощи хвоста. Он первое время, несомненно, тосковал без хвоста. Но теперь — можете вы себе вообразить, что у вас хвост? Или: можете вы себя вообразить на улице голым, без «пиджака» (возможно, что вы еще разгуливаете в «пиджаках»). Вот так же и тут: я не могу себе представить город, не одетый Зеленой Стеною, не могу представить жизнь, не облеченную в цифровые ризы Скрижали.

Скрижаль... Вот сейчас со стены у меня в комнате сурово и нежно в глаза мне глядят ее пурпурные на золотом поле цифры. Невольно вспоминается то, что у древних называлось «иконой», и мне хочется слагать стихи или молитвы (что одно и то же). Ах, зачем я не поэт, чтобы достойно воспеть тебя, о Скрижаль, о сердце и пульс Единого Государства.

Все мы (а может быть, и вы) еще детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог». Но поставьте даже его рядом со Скрижалью — и вы увидите рядом графит и алмаз: в обоих одно и то же — С, углерод, — но как вечен, прозрачен, как сияет алмаз. У кого не захватывает духа, когда вы с грохотом мчитесь по страницам «Расписания». Но Часовая Скрижаль каждого из нас наяву превращает в стального шестиколесного героя великой поэмы. Каждое утро, с шестиколесной точностью, в один и тот же час и в одну и ту же минуту мы, миллионы, встаем как один. В один и тот же час единомиллионно начинаем работу — единомиллионно кончаем. И, сливаясь в единое, миллионнорукое тело, в одну и ту же, на-

значенную Скрижалью, секунду мы подносим ложки ко рту и в одну и ту же секунду выходим на прогулку и идем в аудиториум, в зал тэйлоровских экзерсисов, отходим ко сну...

Буду вполне откровенен: абсолютно точного решения задачи счастья нет еще и у нас: два раза в день — от 16 до 17 и от 21 до 22 единый мощный организм рассыпается на отдельные клетки: это установленные Скрижалью Личные Часы. В эти часы вы увидите: в комнате у одних целомудренно спущены шторы, другие мерно по медным ступеням Марша проходят проспектом, третьи — как я сейчас — за письменным столом. Но я твердо верю — пусть назовут меня идеалистом и фантазером — я верю: раньше или позже, но когда-нибудь и для этих часов мы найдем место в общей формуле, когда-нибудь все 86 400 секунд войдут в Часовую Скрижаль.

Много невероятного мне приходилось читать и слышать о тех временах, когда люди жили еще в свободном, то есть неорганизованном, диком состоянии. Но самым невероятным мне всегда казалось именно это: как тогдашняя — пусть даже зачаточная — государственная власть могла допустить, что люди жили без всякого подобия нашей Скрижали, без обязательных прогулок, без точного урегулирования сроков еды, вставали и ложились спать, когда им взбрет в голову; некоторые историки говорят даже, будто в те времена на улицах всю ночь горели огни, всю ночь по улицам ходили и ездили.

Вот этого я никак не могу осмыслить: ведь как бы ни был ограничен их разум, но все-таки должны же они были понимать, что такая жизнь была самым настоящим поголовным убийством — только медленным, изо дня в день. Государство (гуманность) запрещало убить на смерть одного и не запрещало убивать миллионы наполовину. Убить одного, то есть уменьшить сумму человеческих жизней на 50 лет, — это преступно, а уменьшить сумму человеческих жизней на 50 миллионов лет — это не преступно. Ну разве не смешно? У нас эту математику

чески-моральную задачу в полминуты решит любой десятилетний номер; у них не могли — все их Канты вместе (потому что ни один из Кантов не догадался построить систему научной этики, то есть основанной на вычитании, сложении, делении, умножении).

А это разве не абсурд, что государство (оно смело называть себя государством!) могло оставить без всякого контроля сексуальную жизнь? Кто, когда и сколько хотел... Совершенно ненаучно, как звери. И как звери, вслепую, рожали детей. Не смешно ли: знать садоводство, куроводство, рыбоводство (у нас есть точные данные, что они знали все это) и не сумеешь дойти до последней ступени этой логической лестницы: детоводства. Не додуматься до наших Материнской и Отцовской Норм.

Так смешно, так неправдоподобно, что вот я написал и боюсь: а вдруг вы, неведомые читатели, сочтете меня за злого шутника. Вдруг подумаете, что я просто хочу поиздеваться над вами и с серьезным видом рассказываю совершеннейшую чушь.

Но первое: я не способен на шутки — во всякую шутку неявной функцией входит ложь; и второе: Единая Государственная Наука утверждает, что жизнь древних была именно такова, а Единая Государственная Наука ошибаться не может. Да и откуда тогда было бы взяться государственной логике, когда люди жили в состоянии свободы, то есть зверей, обезьян, стада. Чего можно требовать от них, если даже и в наше время откуда-то со дна, из мохнатых глубин, — еще изредка слышно дикое, обезьянье эхо.

К счастью, только изредка. К счастью, это только мелкие аварии деталей: их легко ремонтировать, не останавливая вечного, великого хода всей Машины. И для того чтобы выкинуть вон погнувшийся болт, у нас есть искусная, тяжелая рука Благодетеля, у нас есть опытный глаз Хранителей...

Да, кстати, теперь вспомнил: этот вчерашний, дваж-

ды изогнутый, как S, — кажется, мне случалось видать его выходящим из Бюро Хранителей. Теперь понимаю, отчего у меня было это инстинктивное чувство почтения к нему и какая-то неловкость, когда эта странная I при нем... Должен сознаться, что эта I...

Звонят спать: 22.30. До завтра.

Запись 4-я.

Конспект:

**ДИКАРЬ С БАРОМЕТРОМ.
ЭПИЛЕПСИЯ. ЕСЛИ БЫ**

До сих пор мне все в жизни было ясно (недаром же у меня, кажется, некоторое пристрастие к этому самому слову «ясно»). А сегодня... Не понимаю.

Первое: я действительно получил наряд быть именно в аудитории 112, как она мне и говорила. Хотя вероятность была — $1500/10\ 000\ 000 = 3/20\ 000$ (1500 — это число аудиториумов, 10 000 000 — номеров). А второе... Впрочем, лучше по порядку.

Аудиториум. Огромный, насквозь просолнечный полушар из стеклянных массивов. Циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов. С легким замиранием сердца я огляделся кругом. Думаю, я искал: не блеснет ли где над голубыми волнами юниф розовый серп — милые губы О. Вот чьи-то необычайно белые и острые зубы, похоже... нет, не то. Нынче вечером, в 21, О придет ко мне — желание увидеть ее здесь было совершенно естественно.

Вот — звонок. Мы встали, спели Гимн Единого Государства — и на эстраде сверкающий золотым громкоговорителем и остроумием фонолктор.

— Уважаемые нумера! Недавно археологи откопали одну книгу двадцатого века. В ней иронический автор рассказывает о дикаре и о барометре. Дикарь заметил: всякий раз, как барометр останавливался на «дожде»,

действительно шел дождь. И так как дикарю захотелось дождя, то он повыковырял ровно столько ртути, чтобы уровень стал на «дождь» (на экране — дикарь в перьях, выколупывающий ртуть: смех). Вы смеетесь: но не кажется ли вам, что смеха гораздо более достоин европеец той эпохи. Так же, как дикарь, европеец хотел «дождя» — дождя с прописной буквы, дождя алгебраического. Но он стоял перед барометром мокрой курицей. У дикаря по крайней мере было больше смелости и энергии и — пусть дикой — логики: он сумел установить, что есть связь между следствием и причиной. Выковыряв ртуть, он сумел сделать первый шаг на том великом пути, по которому...

Тут (повторяю: я пишу, ничего не утаивая) — тут я на некоторое время стал как бы непромокаемым для живительных потоков, лившихся из громкоговорителей. Мне вдруг показалось, что я пришел сюда напрасно (почему «напрасно» и как я мог не прийти, раз был дан наряд?); мне показалось — все пустое, одна скорлупа. И я с трудом включил внимание только тогда, когда фонолектор перешел уже к основной теме: к нашей музыке, к математической композиции (математик — причина, музыка — следствие), к описанию недавно изобретенного музыкаметра.

— ...Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час. А с каким трудом давалось это вашим предкам. Они могли творить, только доведя себя до припадков «вдохновения» — неизвестная форма эпилепсии. И вот вам забавнейшая иллюстрация того, что у них получалось, — музыка Скрябина — двадцатый век. Этот черный ящик (на эстраде раздвинули занавес и там — их древнейший инструмент) — этот ящик они называли «рояльным» или «королевским», что лишний раз доказывает, насколько вся их музыка...

И дальше — я опять не помню, очень возможно, потому, что... Ну, да скажу прямо: потому что к «рояльно-

му» ящику подошла она — I-330. Вероятно, я был просто поражен этим ее неожиданным появлением на эстраде.

Она была в фантастическом костюме древней эпохи: плотно облегающее черное платье, остро подчеркнута белое открытых плечей и груди, и эта теплая, колыхающаяся от дыхания тень между... и ослепительные, почти злые зубы...

Улыбка — укус, сюда — вниз. Села, заиграла. Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, — ни тени разумной механичности. И конечно, они, кругом меня, правы: все смеются. Только немногие... но почему же и я — я?

Да, эпилепсия — душевная болезнь — боль. Медленная, сладкая боль — укус — и чтобы еще глубже, еще больнее. И вот, медленно — солнце. Не наше, не это голубовато-хрустальное и равномерное сквозь стеклянные кирпичи — нет: дикое, несущееся, опаляющее солнце — долой все с себя — все в мелкие клочья.

Сидевший рядом со мной покосился влево — на меня — и хихикнул. Почему-то очень отчетливо запомнилось: я увидел — на губах у него выскочил микроскопический слюнный пузырек и лопнул. Этот пузырек отрезвил меня. Я — снова я.

Как и все, я слышал только нелепую, суетливую трескотню струн. Я смеялся. Стало легко и просто. Талантливый фонолектор слишком живо изобразил нам эту дикую эпоху — вот и все.

С каким наслаждением я слушал затем нашу теперешнюю музыку. (Она продемонстрирована была в конце для контраста.) Хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов — и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты — спектральный анализ планет... Какое величие!